

**С. В. Смирнов\***

**ВОСПОМИНАНИЯ РУССКИХ РЕПАТРИАНТОВ ИЗ КИТАЯ:  
ПРОШЛАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ ПРОШЛОГО**

**З**А ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ развития исторической науки оптимизм относительно возможностей познания и реконструкции единственно истинной реальности прошлого заметно поколебался, в известной мере уступив место осознанию того, что «прошлое, понимаемое как сумма того, что действительно произошло, недостижимо для историка»<sup>1</sup>. Данное положение актуализирует понимание исторического прошлого как совокупности его восприятий в сознании действовавших в этом прошлом людей. Следовательно, объектом исторического познания становится прежде всего то, в чем это сознание и порожденное им действие объективировалось, то есть исторический источник, определяемый как реализованный продукт человеческой психики<sup>2</sup>. Особую ценность в данном случае приобретают источники личного происхождения, в частности, биографические повествования, формирующие пространство исторического прошлого на основе индивидуального и коллективного, присущего той или иной социальной группе, опыта.

Обращаясь к традиции биографического повествования, стоит, в известной степени, согласиться с утверждением Г. Миша о том, что «в основе всякого, пусть даже обыденного самоотображения, какой бы эпохе оно не принадлежало, лежит мотив самореализации, прояснения и обретения «духовной индивидуальности», «самости», «персонального эйдоса». Таков извечный способ осознания личностью своих содержательных, конкретно-исторических условий – трансцендентальная форма самоотчета»<sup>3</sup>. В то же время биографическое повествование выступает не только, и может быть даже не столько, продуктом самореализующегося человеческого сознания, но и порождением того культурного пространства или культурной ситуации, в которой этот человек живет. Любое биографическое повествование определяется неким глобальным контекстом, присутствующим в структурной и содержательной заданности текста самим жанром или культурной формой (нормой) самосознания и сознания жизни в данном социально-историческом контексте. Более того, исходя из постмодернистской парадигмы, любой артефакт культуры является неким текстом, что в полной мере касается и пересказанных событий жизни человека, биографии. Как отмечал Ю. М. Лотман, «превращение события в текст, прежде всего, означает пересказ его в системе того или иного языка, то есть подчинение его определенной заранее данной структурной организации»<sup>4</sup>. Аналогичные утверждения содержат современные

---

\* *Смирнов Сергей Викторович*, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного университета им. А. М. Горького (Екатеринбург).

<sup>1</sup> *Рикёр П.* Время и рассказ. М.; СПб., 2000. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. С. 116.

<sup>2</sup> *Юрганов А. Л.* Опыт исторической феноменологии // *ВИ.* 2001. № 9. С. 36.

<sup>3</sup> Цит. по: *Соловьев Э. Ю.* Биографический анализ как вид историко-философского исследования // *Вопросы философии.* 1981. № 9. С. 140.

<sup>4</sup> *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 307.

исследования в области лингвистики: «вспоминать – это значит прочитывать прошлое; такое чтение требует лингвистических (языковых) навыков, характерных для традиций объяснения и рассказа в данной культуре, и представляет прочитанное в нарративе, который своим значением глубоко связан с интерпретативными практиками сообщества, и это же относится и к пониманию собственного опыта»<sup>5</sup>.

Вместе с тем, изучая свидетельства прошлого в биографических повествованиях, необходимо учитывать еще один момент, а именно наличие социального воздействия (давления, поощрения, цензуры) на повествующего. Как отмечает В. Б. Голофаст, при исследовании биографии важным становится выявление «явной или неявной ориентации автора на обостренное внимание третьих лиц. Проблема цензуры отсылает либо к этой узкоформулируемой роли третьих лиц, либо к влиянию социальной оглядки в целом, включая свойства самого автора: самооглядку, привычный уровень морального самоконтроля, критичное или некритичное самосознание, нравственное поведение в одиночестве, в реальном или потенциальном социальном окружении»<sup>6</sup>. В нашем случае, например, необходимо учитывать то, что стремление человека адаптироваться к новой социальной среде, с присущим ей коллективным образом настоящей реальности, нередко заставляет его реинтерпретировать «старую» реальность, то есть прошлое.

Принимая за основу утверждение о том, что историческая реальность, представленная в источниках, суть интерпретация прошлого, мы при анализе записанных воспоминаний помещаем в центр внимания, прежде всего, не проблему большей или меньшей достоверности приводимой в них информации, а проблему источников формирования, составляющих элементов образа прошлой реальности, разворачивающейся в тексте биографического воспоминания. В настоящей статье мы делаем попытку содержательного анализа воспоминаний людей, в определенное время принадлежавших к одной социальной группе (русские эмигранты в Китае), но написанных в разных условиях в разное время, с целью сравнения содержащихся в них картин прошлой реальности.

Материалом для сравнительного анализа нам служат несколько образцов воспоминаний бывших русских эмигрантов из Китая, возвратившихся на родину после Второй мировой войны. Во-первых, это мемуары Всеволода Александровича Морозова, представителя первого поколения эмиграции (1891 г.р.), выходца из семьи старой русской интеллигенции, юриста, штабс-капитана белой армии, написанные в 1950–1960-е гг. Во-вторых, воспоминания инженера Виталия Алексеевича Серебрякова, представителя второго поколения эмиграции (1916 г.р.), из семьи служащих, созданные в 1980-е гг. И, наконец, мемуары Владимира Александровича Слободчикова, также представителя второго поколения эмиграции (1913 г.р.), выходца из дворянской семьи, написанные и опубликованные в первой половине 2000-х гг.

Существование российской диаспоры в Китае имело более чем полувековую историю. Формирование диаспоры положило строительство и начальные этапы эксплуатации КВЖД – Китайской Восточной железной дороги (1898–1917 гг.). В дальнейшем российская колония выросла за счет беженцев из России в период революционных событий 1917 г. и последовавшей за ними Гражданской войны, а также в период «классовых битв» 1920-х гг., приведших к уничтожению и при-

---

<sup>5</sup> Цит. по: Хмелевская Ю. Ю. О меморизации истории и историзации памяти // Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в XX столетии. Челябинск, 2004. С. 12.

<sup>6</sup> Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. 1995. № 1. С. 73.

теснению «непролетарских» социальных групп. В численном отношении российская колония в Китае насчитывала до 400–500 тыс. человек в начале 1920-х гг. и около 150 тыс. к 1945 г. Ее крупнейшими центрами являлись Харбин и Шанхай. По структуре российская колония являла собой сложное образование как в социальном и политическом плане, будучи составлена из представителей практически всех дореволюционных слоев России, придерживавшихся самого широкого спектра политических взглядов, так и в плане источников формирования. Здесь были те, кто выехал из России еще до 1917 г. и не знал советской действительности, те, кто участвовал в белом движении или был захвачен волнами эмиграции в 1920–1922 гг., наконец, те, кто бежал из Советской России в конце 1920-х – начале 1930-х гг. В начальный период эмиграции ее внутренние различия проявляли себя достаточно сильно, но постепенно сгладились, уступив место большей однородности российской колонии.

Рост патриотических настроений и желание возвратиться на родину в годы Второй мировой войны, а также оккупация советскими войсками Маньчжурии в августе 1945 г. преопределили судьбу российской эмигрантской колонии. Часть эмигрантов из Маньчжурии была насильственно репатриирована в СССР в 1945–1946 гг. и пополнила контингент лагерей ГУЛАГа, в то время как значительная часть русских из Шанхая добровольно возвратились на родину в 1946–1947 гг. В дальнейшем на протяжении 1950-х гг. основная часть еще оставшихся в Китае русских выехали либо в Советский Союз, либо за границу, в Австралию, Америку, Европу.

Изучая картину прошлой реальности, которую конструирует эмигрантская мемуарно-биографическая литература, мы, прежде всего, обращаемся к мотивам создания воспоминаний. Вполне вероятно что, люди, прожившие долгие годы в эмиграции, после возвращения на родину испытывали определенную потребность рассказать о том, как они жили, что испытали, почему вернулись в Россию. Однако в советский период, когда тема эмиграции была одной из «закрытых», а бывшие эмигранты находились «под колпаком» структур госбезопасности, исходившая из эмигрантской среды мемуарная литература не являлась многочисленной. Исключение в данном случае составляли идеологически выверенные, но без печати госзаказа воспоминания и биографические литературные произведения представителей эмигрантской интеллигенции. В частности, это работы Н. Ильиной, Л. Любимова, В. Шульгина и др. Наиболее ранние образцы неофициальных воспоминаний эмигрантов создавались, что называется «в стол», без надежды в ближайшее время быть опубликованными и стать известными широкому кругу читателей. В 1958 г. в Ишимбае В. А. Морозов, взявшись за мемуары, писал: «Ясно понимаю и отдаю себе отчет в том, что эти записи не станут известны никому, кроме разве самых близких мне людей. Так, по крайней мере, должно быть в ближайшие годы. И все-таки я их пишу...»<sup>7</sup>. Дальше автор ставит цель своей работы, заключающуюся в попытке «сообщить будущим исследователям нашей эпохи все то, что думали, видели, и поняли мы, люди, обреченные на слом и сломанные, русские интеллигенты, родившиеся в конце прошлого века и встретившие 1917 год взрослыми людьми...»<sup>8</sup>. В центре внимания Морозова находятся судьбы людей, которые осознанно не приняли советской власти, и вынуждены были покинуть страну, обреченные новой властью на слом и уничтожение. Вместе с тем, мемуары Морозова задумывались и как оценка всего произошедшего

<sup>7</sup> Фрагмент дневника-воспоминаний В. А. Морозова 1958 г. // Архив Научно-исследовательского центра «Белая Россия» (НИЦ «Белая Россия»). Л. 1.

<sup>8</sup> Там же.

на родине после революции, данная человеком, «имевшим возможность взглянуть на Россию, так сказать, “со стороны”, ...мозг которого не затуманен ежеминутной, ежеминутной пропагандой...»<sup>9</sup>. К сожалению, данная задача автором не была выполнена. По воспоминаниям дочери Морозова Г. В. Логиновой, его начинания испугали семью, лишь тремя годами ранее вернувшуюся из-за рубежа, и заставили автора отложить свои мемуары на несколько лет, а в дальнейшем не включать в их состав пассажа 1958 г., и прибегнуть к более нейтральным оценкам.

По иному мотиву создания своих воспоминаний обозначает В. А. Серебряков, приступивший к работе в 1980 г. Рассуждая о том, что заставило его, «инженера, на склоне лет “взяться за перо”», Серебряков писал: «У нас не много написано о русской эмиграции, образовавшейся после Октябрьской революции. Но ее реакционная, антисоветская роль хорошо известна. Меньше знают о том, что в годы Великой Отечественной войны в массе русской эмиграции произошел коренной перелом. В подавляющем большинстве своем эмигранты не встали на сторону врага. Их взгляды изменились, и началась их эволюция от стихийного патриотизма к пониманию и приятию своей социалистической Родины. После войны большая часть русских эмигрантов... вернулась на Родину. Как и почему это произошло? На это в меру своих возможностей, и захотелось ответить»<sup>10</sup>. В центре внимания Серебрякова не те, кто являлся «лицом белой эмиграции» – бывшие государственные деятели царского правительства, руководители партий, генералы, фабриканты, которые «проявляли “бешеную активность”, грызлись друг с другом, плели интриги и строили козни, предрекая гибель советской власти»<sup>11</sup>, а те, кто составлял основную массу эмиграции. «Здесь преобладали люди, которые не стояли у власти, не владели капиталом и землей, которые знали, что такое труд»<sup>12</sup>. К их числу принадлежала и семья Серебрякова.

На рубеже 1980–1990-х гг. с изменением политической ситуации в стране изменилось и отношение к теме эмиграции. Она не только была реабилитирована, но и стала «модной». Начали открываться ранее недоступные источники и появляться новые. По-истине массовым источником в 1990–2000-е гг. стали воспоминания бывших эмигрантов, главным образом второго и третьего поколений, то есть тех, кто оказался в эмиграции детьми или родился там в 1920–30-е гг. Воспоминания бывших эмигрантов выходили как отдельными изданиями, так и в виде фрагментов на страницах центральных и региональных газет и журналов. Мотивы создания этих воспоминаний, на наш взгляд, были рождены не столько внутренними побуждениями «оставить метку как личный вызов непрерывному течению времени, как свидетельство индивидуально-особенного пути отрицания смерти»<sup>13</sup>, сколько осознанием корпоративной причастности к историческому феномену, каковым являлось Русское Зарубежье, и необходимостью сохранить для потомков сущность этого феномена. Главной целью тех, кто брался за мемуары, являлось стремление «рассказать, как их дедам и отцам пришлось покинуть Родину и сколько перенести, перестрадать, перетерпеть материальных и

<sup>9</sup> Фрагмент дневника-воспоминаний В. А. Морозова 1958 г. Л. 3, 4.

<sup>10</sup> Коллекция документов членов свердловского отделения общественной организации Ассоциация «Харбин». В. Серебряков. Полжизни в эмиграции. Воспоминания о далеком прошлом. ГААОСО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 2. Ч. 1. Л. 1д.

<sup>11</sup> ГААОСО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 2. Л. 1е.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Антонов А. Микросоциология семьи. (Методология исследования структур и процессов). М., 1998. С. 214.

нравственных мук, горестей, скорбей и невзгод на “новой Родине”»<sup>14</sup>. Так, В. А. Слободчиков в предисловии к своим мемуарам писал: «Эта книга создана по настоянию моих детей и внуков. Она должна познакомить их с необычностью моего жизненного пути и рассказать о трагической судьбе целого поколения русских людей, оказавшихся в начале века на чужбине»<sup>15</sup>.

В каждом из рассматриваемых нами случаев бывшие эмигранты, обратившись к мемуарам, не только исходили из разных целей, но и обладали различной источником-историографической базой. Морозов, вторично взявшийся за перо в 1963 г., отмечал: «у меня нет для работы справочников или каких-либо других материалов. Да их, естественно, и не может быть, если принять во внимание тему и обстановку, в которой я намереваюсь вести эти записи. Пишу исключительно по памяти, по личным впечатлениям...»<sup>16</sup>. Автор практически не мог опереться и на опубликованные воспоминания, которых было еще не много, и они не были лишены идеологической нагрузки. В отличие от Морозова, Серебряков, как показывает вступительная часть его мемуаров («у нас немало написано о русской эмиграции, образовавшейся после Октябрьской революции») и анализ последующего текста, был, вероятно, неплохо знаком с отечественной исторической литературой, посвященной эмигрантской тематике. В еще более «выгодном» положении оказались бывшие эмигранты, обратившиеся к мемуарам в 1990-е гг. В их распоряжении оказалась достаточно многочисленная постсоветская историческая литература, лишенная прежних идеологических штампов в оценке эмиграции. В частности, Слободчиков, рассказывая об истории своей семьи, встраивает ее в общеисторический контекст первой половины XX в., созданный на основе современной исследовательской литературы.

Принципиально важным является то обстоятельство, что все авторы, обратившись к мемуарам, даже при отсутствии достаточной источниковой базы ориентировались на правдивое отображение исторических событий, не приукрашивая и не привнося ничего своего в описание прошлой реальности. Как писал, например, Слободчиков, «[его] книга является фактически историческим документом, в котором нет ни одного вымышленного факта и даны подлинные имена всех участников событий»<sup>17</sup>.

Отличительной чертой мемуаров Морозова является отсутствие необходимости в советский период «политкорректности», что выражается, прежде всего, в неиспользовании терминов, характерных для оценки жизни эмиграции в языке советских произведений, и самих этих оценок. Вероятно, даже прожив на родине более двадцати лет, автор так до конца и не адаптировался к новой действительности, не стал «советским», что, в свою очередь, не повлекло за собой и реинтерпретации прошлой реальности. Уверенность в том, что Морозов не принял до конца советскую действительность, нам дает отрывок из его дневника 1958 г., характеризующий октябрьскую революцию 1917 г. В последующий комплект мемуарной литературы этот отрывок не вошел, оценки стали более нейтральными, а тема революции автором больше не поднималась. Впрочем, это скорее говорит не столько о смене идеологических ориентиров, сколько о нежелании чем-либо повредить своей семье. Для Морозова даже по прошествии сорока лет ре-

<sup>14</sup> На сопках Маньчжурии. Новосибирск, 1997. № 39. С. 3.

<sup>15</sup> Слободчиков В. А. О судьбе изгнанников печальной... Харбин. Шанхай. М., 2005. С. 5.

<sup>16</sup> Собрание воспоминаний и дневников Морозова Всеволода Александровича «Записки об эмиграции». РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 5. Д. 10. Л. 1.

<sup>17</sup> Слободчиков В. А. Указ. соч. С. 6.

волюция выступала «как насилие, насилие организованное и в то же время предательское, какое-то изумительно бесстыдное и циничное, продиктованное самыми низменными инстинктами, иезуитски возведенными в ранг доблести и добродетели. Насилие, лишь частично направленное против зла, а главным образом против всего самого дорогого и заветного, чем человечество жило века и века, революция как бесконечная пошлость и сплошная ложь и обман – так была понята и принята, сознательно или бессознательно, честными людьми независимо от их классовой принадлежности»<sup>18</sup>.

Обращаясь к жизни российской эмиграции в Китае, преимущественно в Харбине, Морозов прежде всего пытается ответить на вопрос, почему те молодые люди, кто ушел в эмиграцию и «в большинстве своем должен был погибнуть морально и физически», выжили. Отвечая на этот крайне важный для него вопрос, автор отмечает, что «как это не странно, заложенный в наивности [нашей] романтизм стал якорем нашего спасения. Не холодный расчет и трезвый разум, а склонность к фантазированию, отчасти к самолюбованию своей невзыскательностью к жизненным условиям и что-то вроде жертвенности во имя идеи помогли нам пережить первый удар и преодолеть первые трудности»<sup>19</sup>.

«Жертвенность во имя идеи», «русской идеи»... Вероятно, именно вербально-смысловой конструкт «русской идеи» явился структурообразующим элементом «картины прошлого» Морозова. Само существование этой идеи выступает для него некоей скрепой эмигрантской общности, вместе с тем, оно не детерминирует жизнь эмиграции и уж тем более не предопределяет ее преимущественный политический характер. На страницах воспоминаний Всеволода Александровича находят отражение судьбы крупных деятелей эмиграции и обычных людей «из толпы»; тех, кто не сумел вписаться в новую жизнь или встал «на скользкий путь», как «интеллигентные кельнерши», которые «не были профессиональными проститутками, но сравнительно легко доступными женщинами»; или тех, кто не только выжил сам, но и дал другим хотя бы иллюзию «сознательной жизни». Но только «русская идея», «русская мечта» дала силы эмиграции, позволила ей сохранить себя как здоровую и жизнеспособную общность.

Приверженность «русской идее» позволила сохранить русскость в эмигрантской молодежи, на которую уже в начале 1920-х гг. «раскрыли рот американцы и сектанты». Описывая деятельность колледжа Христианского союза молодых людей (ХСМЛ) в Харбине, Морозов пишет: «денег ХСМЛ вбил много, дело поставил образцово, но целей своих не достиг, американизировать молодежь ему не удалось, или почти не удалось»<sup>20</sup>. «Русская идея» подталкивала эмигрантскую молодежь, которую постарались прибрать к рукам большевики, противостоять большевистскому влиянию «созданием организаций Мушкетеров, Черное кольцо и еще каких-то», ведшими кулачные «дискуссии» со своими политическими оппонентами в лице отмольцев (аналог комсомольской организации)<sup>21</sup>.

Стремление сохранить прежние дореволюционные традиции и ценности сделало особенно популярным в эмигрантской среде монархическое движение, а вот фашистов «эмиграция взяла на подозрение из-за неясности, непонятности для эмиграции фашистских политических воззрений. Эта неясность особенно подчеркивалась тем, что фашисты не могли ответить на вопрос: с царем или без

---

<sup>18</sup> Фрагмент дневника-воспоминаний В. А. Морозова 1958 г. Л. 10 об.

<sup>19</sup> РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 5. Д. 11. Л. 45.

<sup>20</sup> Там же. Л. 69.

<sup>21</sup> Там же. Л. 64.

царя они мыслят будущую Россию. А для эмигрантской широкой массы [этот вопрос] решал все»<sup>22</sup>.

В своей характеристике общих черт эмиграции Морозов явно находится под обаянием «русской идеи», несколько идеализируя эмигрантскую жизнь. В частности, он приводит следующие характерные черты эмигрантского сообщества. «...Преступность среди русского населения была очень незначительна. Клиентами адвокатов-криминалистов были, главным образом, шоферы, ...и одно время молодежь, калечившая друг друга на политической почве...». Незначительным было и пьянство, и увлечение наркотиками, главным образом их «жертвами были интеллигенты, потерявшие душу и замученные раздиравшими душу сомнениями». «Была и проституция, замаскированная работой в барах, ресторанах, кабаре, кафе, но в размерах отнюдь не устрашающих...». «...Самоубийства были каким-то необычайным происшествием, пожалуй, более необычным, чем в любом налаженном государстве». «Семья в эмиграции была крепче, чем это можно было предполагать»<sup>23</sup>, различные эксцессы в этой сфере не превышали нормы, установленной жизнью для нормального общества<sup>24</sup>.

Образ врага, присутствующий в картине «прошлой реальности» Морозова, представлен теми силами, которые в той или иной степени противостояли «русской идее» эмиграции. Это большевики, американцы, масоны, фашисты. Но, как ни странно, в эту категорию практически не входят японцы, с политико-идеологической деятельностью которых в Маньчжурии в 1930–1940-е гг. в исторической литературе обычно связывают упадок и деградацию русской эмигрантской колонии. Слабо выражена в анализируемой нами «картине прошлого» и идея духовной эволюции эмиграции в годы Великой Отечественной войны. По крайней мере, она совершенно не выступает в роли переломного момента в жизни эмигрантского сообщества. Победа русского народа в борьбе со смертельным врагом горячо приветствовалась, что, однако, не означало признания советского режима. Возможный приход советских войск в Маньчжурию в 1945 г. эмигранты в массе своей принимают как неотвратимую волю судьбы. Морозов пишет, когда весной 1945 г. ему предложили перебраться на восточную ветку, откуда было проще при необходимости бежать в глубь Китая, он ответил, «что решил никуда больше не бежать, что в моей семье у дочери полутора годовалый ребенок, что жена моя больная женщина... да и вообще дальнейшее бегство бессмысленно»<sup>25</sup>. В картине «прошлой реальности» Морозова 1945 год стал финальной чертой в жизни эмигрантского сообщества, но не концом «русской идеи», носителями которой остались русские эмигранты, пусть и ставшие советскими гражданами.

В отличие от «картины прошлого» В. А. Морозова, «образ эмиграции» В. А. Серебрякова достаточно идеологически выверен. Как отмечалось ранее, главной целью мемуаров Серебрякова являлось, уже ставшее традиционным для советской эмигрантской мемуаристики 1950–1970-х гг., стремление показать духовную эволюцию эмиграции в сторону признания «своей социалистической Роди-

<sup>22</sup> РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 5. Д. 12. Л. 62.

<sup>23</sup> Там же. Д.10. Л. 8–10.

<sup>24</sup> Обращение к материалам периодической печати и другим источникам 1920–1930-х гг. дает несколько иную картину, особенно для первой половины 1920-х гг., когда самоубийства стали едва ли не каждодневным явлением, достаточно широкое распространение получили пьянство и наркомания, уровень преступности, включая организованную, вырос в несколько раз. Как сообщал один из отчетов Лиги Наций, половина всех русских женщин в Маньчжурии зарабатывали на жизнь преимущественно проституцией.

<sup>25</sup> РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 5. Д. 12. Л. 36.

ны», приведшую эмигрантов к возвращению в СССР. Этой идее подчинена и четкая композиция рассматриваемых мемуаров – жизненный путь, разворачивающийся в строгой последовательности биографических пассажей, каждый из которых выступает как часть духовной эволюции личности эмигранта. Для сравнения, воспоминания Морозова лишены композиционной завершенности, являя собой мозаику разновременных, разнохарактерных сюжетов, в известной степени отражающую неоднородность и разнонаправленность жизни эмиграции.

Судьба человека, оказавшегося вне Родины, крайне тяжела, а жизнь бесплодна, «бедность, унижение, безвыходный круговорот белки в колесе» – такие характеристики эмиграции давала советская историография 1970–1980-х гг.<sup>26</sup>. Для Серебрякова данные характеристики, вероятно, имели основополагающее значение. В одной из частей своих мемуаров он пишет о Серже Ермол, популярном в 1930-е гг. русском джазовом музыканте и певце, являвшемся эталоном для О. Лундстрема, в первый состав оркестра которого входил и Серебряков. Серж Ермол, в отличие от Лундстрема, на родину не возвратился, и уехал в Австралию. Пользовавшийся большим успехом не только в эмигрантских кругах Шанхая, он растратил свой талант попусту и в Австралии работал «в качестве певца и ударника в небольшом ресторанчике». По словам Серебрякова, Ермол «пишет предлиннейшие письма Олегу [Лундстрему], в которых “гордится” успехами своего коллеги на Родине. Письма его полны “бодрости и оптимизма”, но преобладают в них тоскливые нотки»<sup>27</sup>.

Духовная эволюция эмигранта показана Серебряковым на примере своей судьбы и судьбы своей семьи, оказавшейся в эмиграции не столько из-за глубоких внутренних убеждений, сколько в силу обстоятельств (отец Серебрякова входил в число лиц технического персонала Лысьвенского завода, подлежавших эвакуации на восток в 1919 г.). Эмигрантский период жизни для автора достаточно четко делится на две части: харбинский период, время детства и юности, не лишённое идеалистического налета, и шанхайский период, время окончательного «духовного перерождения», завершившееся возвращением на Родину.

Харбинский период наполнен почти безоблачными детскими впечатлениями ребенка из семьи служащего КВЖД, наиболее привилегированной среди русских сферы занятости в Маньчжурии: «Жили мы на 2-й Механической безбедно. Заработок отца позволял содержать всю нашу семью из шести человек...»<sup>28</sup>. Харбин в 1920-е гг. на страницах мемуаров выступает местом, где уживались и советские подданные (преимущественно бывшие кавэжэдэки, еще до революции выехавшие в Маньчжурию) и эмигранты. Автор не помнит каких-либо серьезных конфликтов на политической или социальной почве, проявления девиантного поведения. «...В целом, рос я под несравненно большим влиянием “улицы”, чем школы. Надо сказать, однако, что среди наших уличных ребят, хулиганов, шпаны и блатных практически не было. Не было среди наших соседей и, как это принято говорить сейчас, неблагополучных семей. Был лишь один случай...»<sup>29</sup>. Мир детства был русским миром пусть и на чужой земле, со свойственной ему стабильностью и устойчивостью. Эту стабильность не разрушило и важное событие в жизни семьи – увольнение отца в 1930 г. с железной дороги за то, что, имея

<sup>26</sup> *Комин В. В.* Крах российской контрреволюции за рубежом. Калинин, 1977; *Мухачев Ю. В.* Идеино-политическое банкротство планов буржуазного реставраторства в СССР. М., 1982; *Шкаренков Л. К.* Агония белой эмиграции. М., 1981, и др.

<sup>27</sup> ГААОСО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 2. Л. 85.

<sup>28</sup> Там же. Л. 33.

<sup>29</sup> Там же. Л. 15.



квитанцию о возбуждении ходатайства о переходе в советское подданство, он отказался покинуть место работы по приказу советского руководства КВЖД во время советско-китайского конфликта 1929 г. Переломным моментом, поставившим под сомнение прежнюю «картину реальности», стал 1932 г., время установления в Маньчжурии японского господства и окончания Серебряковым школы.

Мир, знакомый с детства, утрачивает былую стабильность под воздействием значительных перемен: «изменилась обстановка в Харбине..., появились кадры “власть предержащих” и у нас в [Северо-Маньчжурской политехническом] институте. Ими стали самые темные и дремучие студенты, из тех, кто на занятия ходил не регулярно, да и под хмельком. Появились в словаре харбинцев новые слова: “стукач”, “жандармерия”». Изменилась обстановка и в семье Серебряковых: «не стало собираться шумных компаний, стали иными разговоры, утихли споры. Больше всего говорили о том, что делать дальше»<sup>30</sup>. В утратившей устойчивость «картине мира» появился «образ врага», представленный, прежде всего, в лице японцев (необходимо отметить, что японский милитаризм традиционно выступал составной частью «образа врага» в советской «картине мира»), а также тех сил, которые стремились оторвать русских эмигрантов от их русских корней и превратить во врагов своей Родины. В частности, это были американцы (американская составляющая «образа врага» была особенно характерна для советского сознания 1980-х гг.) и их организации, такие как ХСМЛ: «...американские политики уже тогда видели в лице Советского Союза главную силу, стоящую на пути их гегемонистских устремлений, и поэтому “русские кадры” для них представляли особую ценность...»<sup>31</sup>.

Появившись впервые на страницах мемуаров как показатель процесса разрушения устойчивой «картины мира», вопрос «что делать дальше» становится рефреном в повествовании Серебрякова, а стремление его разрешить главным смыслообразующим элементом в картине «прошлой реальности» автора. Попытка решить вопрос «что делать дальше» заставила героя повествования после закрытия Северо-Маньчжурского политехнического института отказаться от дальнейшего обучения в «японском» институте Святого Владимира («Идти в учебное заведение, организованное японцами, – нет, уж, извините! Так примерно рассуждало подавляющее большинство»<sup>32</sup>), искать опоры в религии («стал чаще ходить в церковь по доброй воле, втайне молиться»<sup>33</sup>) и, в конце концов, покинуть Харбин. Выехать в СССР семья Серебряковых не могла, «так как отцу было отказано в советском гражданстве, ...и политически мы, конечно, не были готовы к такому решению...»<sup>34</sup>. Единственным вариантом оставался Шанхай, «куда уезжало все больше и больше русских семей».

Шанхай у Серебрякова выступает полной противоположностью Харбину с его русскостью и патриархальностью. Этот чужой, бездушный «мир капитализма» как нельзя лучше воспитывал «классовую ненависть» и способствовал эволюции эмигрантского сознания. Практически все зарисовки шанхайского периода у Серебрякова строго выдержаны в «классовом», «антикапиталистическом» духе. «Мои харбинские представления о “хозяевах” изменились... Шанхайские “боссы”, с которыми я столкнулся, были настоящими потогонщиками, стремившимися как можно быстрее получить “навар” на каждый доллар своего капи-

<sup>30</sup> ГААОСО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 2. Л. 61.

<sup>31</sup> Там же. Л. 90.

<sup>32</sup> Там же. Л. 69.

<sup>33</sup> Там же. Л. 74.

<sup>34</sup> Там же. Л. 79.

тальца. Это были, хотя и мелкие, но очень выразительные представители своего класса, алчные и уверенные в своем праве на наживу за счет других... Они были точь-в-точь такими, как их “братья по классу”, изображаемые в те времена в “Правде”, которую я иногда покупал в книжном магазине на Авеню Жоффри»<sup>35</sup>.

В новом, классовом членении мира, Советский Союз занял исключительное положение, выступая в «образе покровителя». Жизнь приобрела новый смысл (или вообще смысл), заключающийся в борьбе за «великое будущее человечества», эпицентром которой выступала строившая новое общество «социалистическая Родина». Возвращение на Родину, особенно в условиях войны, когда страна истекала кровью, стало заветной мечтой. Отношение к борьбе за «великое будущее человечества», классовой по своей сущности, развело эмигрантов по разные стороны баррикады, определив, кто «свой», а кто «чужой». Серебряков приводит строки из письма своего друга Ильи Уманца от 1940 г.: «...Конечно, ты тысячу раз прав, что свое существование надо как-то объяснять, так сказать иметь некоторую гордость, что, мол, и я какой-то винтик в общей машине, которая называется... “стремление человечества”. Ну а с другой стороны, думаешь, куда? К чему все эти метания. Не лучше ли сидеть, качумать и поступать, как велит судьба? А поплывешь против течения, далеко ли уплывешь? Стоит ли?»<sup>36</sup>. Такая позиция совершенно неприемлема для того, кто ступил на путь борьбы, и Серебряков проводит черту между собой и своим бывшим другом: «Писать хлестко – это он умел, ничего не скажешь. Но философия у него была с гнильцой – и к добру она его не привела... Философия эта была не новой... И главное в ней не “скромность”, а “безответственность”, от которой один шаг до “вседозволенности”. Стремление “плыть по течению” и “жить, как бог на душу положит”, совсем не выводят людей из борьбы, – без которой нет жизни, – а лишь толкает их в ряды отстающих. И Илья, с той своей философией, не стал исключением»<sup>37</sup>.

Куском «своего» мира в стане «чужих» стал для Серебрякова созданный в 1941 г. в Шанхае «Союз возвращенцев»: «Они [первые возвращенцы] не представляли тогда серьезной политической силы, но сам факт их существования, несомненно, ускорял разложение русской эмиграции, как антисоветской силы»<sup>38</sup>. Картина «прошлой реальности» Серебрякова венчается расширением движения за возвращение, превратившимся в главный фактор жизни русской эмиграции в середине 1940-х гг.

Для мемуаров В. А. Слободчикова в известной степени характерно использование в качестве структурообразующего элемента картины прошлого историко-культурной уникальности российской эмиграции в Китае, выразившейся в символическом, ставшем в 1990-е гг. широко распространенным определении, – Русская Атлантида<sup>39</sup>. В какой-то мере это перекликается с воспоминаниями В. А. Морозова, его «русской идеей». В этой связи программным звучанием наполняются слова автора, помещенные в предисловии к мемуарам: «В ней [своей книге] на фактах моей биографии описывается жизнь людей, потерявших все в

<sup>35</sup> ГААОСО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 2. Л. 121.

<sup>36</sup> Там же. Л. 184.

<sup>37</sup> Там же. Л. 185.

<sup>38</sup> Там же. Л. 177.

<sup>39</sup> Подтверждением этому могут служить многочисленные воспоминания бывших эмигрантов второго и третьего поколений, представленные в 1990–2000-е гг. на страницах газет и журналов, издаваемых объединениями русских выходцев из Китая: «На сопках Маньчжурии» (Новосибирск), «Русские в Китае» (Екатеринбург), «Русская Атлантида» (Челябинск), и др.

своей стране, потерявших, наконец, саму страну, но продолжавших ощущать себя неотъемлемой частью своей утраченной Родины. В книге показывается и то, как на островке русской общины в условиях чужой страны сохранялись и крепились русская культура, русские традиции и русский национальный дух»<sup>40</sup>.

Поместив в центр своего повествования идею сохранения русской культуры, традиций, духа эмиграцией, Слободчиков особым вниманием окружает те структуры, которые способствовали сохранению и трансляции русскости в эмигрантской среде. Для автора это, прежде всего, семья, школа, неформальные неполитические организации (в частности, харбинское литературное общество «Молодая Чураевка»).

Особенно огромна роль семьи, выступающей связующей нитью с прошлым, утраченной родиной, и транслирующей русские культурные ценности в будущее. Недаром Владимир Александрович начинает свое повествование с сюжетов, посвященных старшему поколению семьи, – бабушкам и дедушкам по отцовской и материнской линиям. Основными хранителями традиций, связующей нитью с прошлым выступают у автора представители женской части семьи – бабушка и мать. После смерти матери в 1934 г. остались ее многочисленные дневники, где она в частности, выражала свое отношение к тому, что произошло с ее родиной («Говорят, революция – это заря будущего, но так можно думать, пока не испытаешь ее на своем опыте. И теперь я вправе сказать, что наша революция окровавлена не зарей, а заревом пожара, в котором сгорает страна»<sup>41</sup>), и оставляла наказ «своим сыновьям – российским дворянам»: «Не измени Отечеству. Блуди свою честь и честь родных. Выполнив все свои обещания; держи слово. Чти память предков...»<sup>42</sup> и т.д. Показательно, что после смерти старших членов семьи – матери, бабушки, отца, семья Слободчиковых утрачивает прежнюю устойчивость и распадается.

Важным структурным элементом поддержания историко-культурного феномена русской эмиграции выступает наряду с семьей школа, точнее ее душа – школьные учителя, образы которых нашли достойное место на страницах рассматриваемых мемуаров. «После молитвы [перед началом занятий] директор Василий Савельевич Фролов (одновременно учитель русского языка и литературы. – С. С.) произносил небольшую речь, посвященную историческому событию, произошедшему в этот день. Он был блестящим оратором и умел в кратком слове воскресить “дела минувших дней” и пробудить в сердцах молодых слушателей чувство принадлежности к великой Родине. Его речь была в то же время уроком истории нашего отечества, запоминающимся на всю жизнь. Никто так много не сделал для развития наших патриотических чувств, как этот удивительный человек»<sup>43</sup>. Аналогичные оценочные характеристики мы находим в других воспоминаниях, посвященных учебным заведениям М. А. Оксаковской: «Сама Мария Алексеевна [Оксаковская] оказывала удивительно облагораживающее влияние на всех учеников. При ее появлении в зале, классе или коридоре наши ноги сами собой поднимали нас и руки вытягивались по швам. Наступал момент какой-то благоговейной тишины... Ее присутствие было не довлеющим, а наоборот – ощущалась полная свобода духовного общения»<sup>44</sup>.

<sup>40</sup> Слободчиков В. А. Указ. соч. С. 5.

<sup>41</sup> Там же. С. 166.

<sup>42</sup> Там же. С. 168.

<sup>43</sup> Там же. С. 70.

<sup>44</sup> На сопках Маньчжурии. 2000. № 75. С. 2.

Также как в мемуарах Серебрякова весь период эмигрантской жизни в Китае у Слободчикова четко делится на две части – харбинскую и шанхайскую. Харбинский период, время детства и юности автора, также как в случае Серебрякова (несомненно, свою роль здесь играет принадлежность авторов к одному поколению и близость статусно-материального положения семей) имеет тенденцию к некоторой идеализации. Этот период заканчивает утверждением в Маньчжурии японского господства, положившего начало распаду русского эмигрантского сообщества. В середине 1930-х гг. «ситуация в городе настолько осложнилась, что начался массовый исход русских из Харбина. Молодежь оказалась в особенно критическом положении. Японцы и руководимые ими фашисты стали создавать военизированные отряды, куда насильно забирали русских молодых людей...»<sup>45</sup>. В дальнейшем повествовании японские милитаристы и русские фашисты выступают главными деструктивными силами, формируя «образ врага».

Шанхайский период у Слободчикова не несет особой смысловой нагрузки, в отличие от мемуаров Серебрякова. Также как и Великая Отечественная война, чье значение в подъеме патриотизма в эмигрантской среде автор не умаляет, но при этом отмечает: «... “Россия”, а не “Советский Союз”, – да еще не только “Россия”, а “наша Россия” – жгли ум и эмигрантские сердца, вызывали чувство сопричастности к великой беде разбеденных с нами, но родных русских людей – нашей России»<sup>46</sup>. Шанхайский период стал временем постепенного распада большой семьи Слободчиковых, завершившегося отъездом двух старших братьев Владимира Александровича в США, младшего – в СССР, и арестом и насильственной репатриацией в Советский Союз самого автора в 1953 г. Так судьба семьи Слободчиковых выразила судьбу всей русской эмиграции в Китае – ее распад и исчезновение, как целостности.

Вместе с тем «русская идея» в восприятии молодого поколения эмигрантов не была утрачена с исчезновением эмиграции. Вернувшись на Родину, бывшие эмигранты остались ее хранителями до той поры, пока она не была востребована родной страной: «...сегодня, когда наша страна ищет новые, разумные формы бытия, опыт создания гармоничных форм общественной жизни, сочетающий свободную инициативу и культуру, является поистине бесценным. Хотя с исходом русского населения из Китая ушла в небытие, как легендарная Атлантида, российская цивилизация в Маньчжурии, ее опыт по обустройству жизни не должен быть утрачен»<sup>47</sup>.

Таким образом, изучение картины прошлого, конструируемой созданными в разное время и в разных условиях биографическими воспоминаниями русских репатриантов из Китая, позволяет утверждать, что при всей индивидуальности восприятия, осмысления и оценки прошлого, образ «прошлой реальности» неминуемо и существенно корректируется некими исходными смыслообразующими характеристиками, неким символическим мегатекстом, не вполне подвластным осознанию самим автором.

---

<sup>45</sup> Слободчиков В. А. Указ. соч. С. 171.

<sup>46</sup> Там же. С. 219.

<sup>47</sup> Русские в Китае. 1995. № 1. С. 3.